

Почему-то всех звали: Петька, Ленка, Валька... Петя, Лена, Валя — это было как-то полуофициально, а уж всякие там Петечки, Леночки, Валечки — и совсем уж было не принято, разве только когда поздравляют тебя с праздником и чего-то там желают.

Вот и бабушку мою — Дуню, Евдокию, все звали ласково — Дуняшка.

Была бабушка Дуняшка маленького роста, наверное, не выше метра пятидесяти. Всегда в платочке, под платочком, в волосах — круглая гребенка. Никогда я не видела ее нахмуренной или злой, только улыбчивой. Она не то что ругаться, а и сердиться-то, кажется, не умела. Если с чем-то не согласна, только рукой махнет: «Делайте, мол, как знаете» — и все.

Бабушка с дедом Ваней до войны жили в деревне Ченежа. Бабушка была из зажиточной семьи и вышла замуж за деда «самокруткой», то есть против воли родителей — Ванюшка

был парень хоть куда, но из совсем уж бедноты, да еще и в Бога не верил, в храм не ходил. А у Дуняшкиных родителей — и лошадь есть, и коровы, и овцы, не считая уж всякую «мелочь» вроде кур и свиней. Да и сама она была ловкая да «басенькая». Но вот поди ж ты — влюбилась в Ваню. Решили потихоньку пожениться, Ванька даже на церковь согласился — тут уж Дуняша намертво встала. А там уж к родителям в ноги кинулись, по обычаю. Ну, тем деваться некуда — простили и приняли зятя, понятно. Даже дом им построили — с помощью всей деревни, конечно.

Почти перед самой войной Иван перевез семью в город. Дом хороший купили — Ваня работал лесником, зарабатывал, конечно, не шикарно, но по тем временам — очень прилично. Но достатка в их семье никогда не было — так, жили, как все — прокормиться бы да одежу-обувку справить. Да и то сказать — один работник в семье, бабушка до-

мом была занята, хозяйством (корова, овцы, куры, свинья, огород), детьми. Детей было восемь — пять девок да три парня. Правда, один, Славик, умер в восемь лет от скарлатины. И вообще, дед добытчиком был — грибы, ягоды, рыба — все это он из лесу приносил. Вот только охотиться не любил. Даже и ружье у него было, и как лесник, мог дичины-то приносить, но — нет. Не любил, жалко было. Зато рыбы — сколько угодно. Бывало, удочку возьмет, пойдет на речку и говорит бабушке: «Печку растапливай да воду грей, будешь уху варить». Бабушка ему, мол, что заранее воду греть, ты сначала рыбу принеси, а он: «Ты грей, грей, рыба-то будет!» — и да, через полчаса с рыбой идет.

На войну его не взяли — лесник нужен был здесь. Ожидали диверсий со стороны финнов, а кто как не лесник лучше проследит. Дошли немцы только до Ченежи, до города не успели. Да и в Ченеже пробыли недолго, уже через несколько дней партизаны их выдворили. Так что и люди даже не пострадали. Только на Пудож однажды налетели фашистские самолеты, сбросили мимо несколько бомб. Лишь одна попала в цель — бабушкина Садовая улица была окраинной, так вот бомба угодила в дом, который стоял через один от их дома. Погибла старенькая бабушка — остальных дома не оказалось.

А вот дедушкин брат, Александр, ушел на войну совсем молодым, даже жениться еще не успел. Пропал без вести.

В приветливом бабушкином доме начинали свою семейную жизнь почти все ее дети. Вот и мои родители, когда поженились, и до четырех моих лет тоже жили в «горнице», раньше бывшей комнатой девчат.

Самое первое впечатление детства: просыпаюсь утром в своей кровати с сеткой, в комнате никого, зато за стенкой, в «зале», слышны голоса, позвякивание ложечки о стеклянный стакан. И — острое: «Чай пьют! А меня не разбудили!» Вскакиваю, переваливаюсь через сетку на пол и бегу босиком в зал. Там на большом столе пыхтит паром большой блестящий самовар, за столом — бабушка, дед, мама с папой. Я, возмущенно сопя, забираюсь на свой высокий стульчик. Он мне уже немного маловат, папа все хочет отпилить поперечную дощечку, чтобы не давила мне на живот, но я не даю: когда он сокрушается, что стульчик мне мал, нарочно втягиваю живот и показываю, что между дощечкой и животом еще полно места. Дощечка — это мое пианино. Когда никто не видит, я представляю, что играю на нем разную музыку, и красиво покачиваю в такт головой, как тетя Ида у нас в яслях...

Со всеми вместе пить чай весело! Папа рассказывает что-нибудь веселое, все смеются, а я рассматриваю себя в самоваре. Если немного двигать головой, то лицо становится совершенно разным — то щеки, то глаза, то нос становятся толстыми или втянутыми, съезжают в стороны... А если скорчить рожицу, то будет еще смешнее. Но надо это делать только тогда, когда не видит дед — от него за рожицы можно и деревянной ложкой в лоб получить. Конечно, бьет он не больно, но всегда неожиданно, поэтому я вскрикиваю и сердито тру лоб. Бабушка машет на деда рукой, мама смеется, а папа подмигивает мне. И почему дед не любит, когда корчат рожи в самовар? Вот бабушке или маме это безразлично, а папа и сам может ого-го какую скорчить! Мне ни за что так не сделать!

Окна в доме маленькие, как и обычно в таких домах (хотя тогда, конечно, они казались мне большими), форточки узкие. Вот в форточке-то я и застряла однажды. Мама попросила позвать бабушку с огорода, я голову в форточку просунула, бабушку покричала, а обратно — никак! Не просовывается голова! Пыхтела я, пыхтела, не получается. Звать — кого? Бабушка-то уже в дом зашла, не услышит! (Это мне, двухлетней, так казалось.) Ко-

нечно, закричала со страху, мама с бабушкой прибежали. Разобрались быстро. Голову-то, говорят, набок поверни! И правда, повернула, все получилось. Это я сообразила повернуть голову набок, чтобы она влезла в форточку, а обратно — умишка не хватило.

Кроватка у меня была обычная, как у многих детей тогда: металлическая, со спинкой с такими вертикальными прутьями и сетчатой передней стенкой. Я четко помню свою тогдашнюю мысль: в форточке я застряла, потому что голову набок не повернула. А у кроватки прутья такие, что голова как раз пройдет — и туда, и обратно! Ну и просунула голову между прутьями. Прекрасно прошла. А обратно — опять никак! Уши мешают! Больно! Ревела я больше, кажется, от обиды — как же так? Туда — уши не мешали, почему обратно мешают? Прибежали на мой рев опять все. Стали тянуть — я еще громче кричу, больно же! Хорошо, папа смог прутья немного раздвинуть, выскочила моя голова. Только уши немного горели. Мама с папой смеются, а бабушка сердится — вот, мол, глупая, только что из форточки достали, так она в кровать умудрилась всунуться! Ну как же они не понимали: это же был научный эксперимент!

Мое любимое место в бабушкином доме — подоконник в кухне. Он кажется мне очень широким — можно удобно сидеть и даже ноги вытянуть. С этого подоконника видно все: что происходит на кухне или в зале, как горит в русской печке за железной заслонкой огонь, дорожка от калитки до крыльца — если кто идет, сразу видишь и можешь сказать всем.

(Когда я уже училась в институте, пришла к бабушке и посмотрела на подоконник. Он оказался совсем узеньким, я попробовала на него сесть — и не влезла. Потом рассказывала маме, и она уверила меня, что этот подоконник был любимым местом у всех ее сестер и братьев, так что даже драки случались из-за него.)

Я сижу на подоконнике. Уже вечер, за окном совсем темно. Возле стола на скамеечке

сидит дед, подшивает валенки и тянет какуюто бесконечную песню. Мы часто так с ним сидим, дед говорит, что ему со мной веселее. Да и мне тоже, хотя все удивляются — что тут веселого? В печке горит огонь, там в чугунке варится картошка на завтра поросенку. Когда она сварится, я попрошу у бабушки одну или две, непременно с плюснями! Смешные взрослые! Они всегда очищают картошку от шкурки, а надо ее есть так, вместе со шкуркой, так вкуснее! Только надо обязательно макать ее в блюдце с солью и постным маслом. Она тогда солененькая и очень вкусная!

Тянется дратва, тянется песня... И от этих равномерных движений дедовой руки, от размеренно-тягучих звуков песни, от мелькания огня в печке, от, как будто бы, вкуса картошки во рту — делается тепло и уютно, и глаза сами закрываются.

— Ой, бажоная, спит совсем! — бабушка подхватывает меня на руки. Я прижимаюсь к ней щекой и хочу сказать, что я вовсе и не сплю, что еще буду картошку есть! Но губы совсем меня не слушаются, и бабушка несет меня, а куда — я уже не вижу...

А еще в зале у бабушки жили большущий фикус и чайная роза. Она никому не разрешала их поливать и даже трогать. Если у фикуса иногда вдруг падал лист — это было так здорово! Мне он казался огромным! С этим твердым прохладным листом можно было интересно играть: сделать из него лодку для куклы, или мост через речку, или кроватку. А роза мне не нравилась. Во-первых, почему «роза», когда это целое дерево? Во-вторых, почему «чайная»? При чем тут вообще чай? Чай — это самовар, и ложечка в стакане звенит, а у нее ничего этого нет. В-третьих, жадная! Если фикус дарил иногда листья для игры, то роза роняла свои цветы только тогда, когда они были уже сморщенными и вялыми и ни на что не годились!

Загадка названия — «чайная роза» — долго не давала мне покоя. Ведь даже и цветы-то вовсе не чайного цвета, а самого что ни на

есть красного, и к заварке никакого отношения цветок не имел. Да и размеров растение было вовсе не миниатюрного, чтобы можно было, например, стол во время чаепития украсить, а самого внушительного — почти с человеческий рост! Все оказалось очень просто: цветок был гибискус, или китайская роза. Вот в народе «чайна» — «китайская» — и преобразовалось в «чайную»!

И еще такое воспоминание: ночь, я сплю в своей кроватке, вдруг откуда-то приходит папа, они с мамой будят меня, весело смеются и почему-то кормят зубной пастой из тюбика. Я сначала не хочу и сержусь, но потом мама ест эту пасту и показывает, что это вкусно, я пробую, и мне тоже нравится...

Через много лет я рассказала это воспоминание маме, недоумевая, зачем нужно было среди ночи будить ребенка и кормить его зубной пастой? Мама очень удивилась, что я помню — ведь мне не было еще и двух лет, а потом смеялась. Оказывается, папа учился тогда заочно в строительном техникуме в Петрозаводске и ездил на сессии. В тот раз он приехал после первой сессии. До этого он никуда не уезжал, а тут — целый месяц! Вот мама и обрадовалась, когда он вернулся. Был еще вечер, просто я уже успела заснуть, но проснулась от света и разговора. Папа привез лакомство: мармелад в тюбиках (тогда, после полета первых наших ракет, модно было выпускать в тюбиках, как у космонавтов, всякие продукты). И мама решила угостить вкусняшкой ребенка. А зубной пасты тогда вообще еще не было, только порошок в картонных круглых коробочках.

Видимо, мои детские воспоминания смешались с более поздними впечатлениями, и получилось, что мама кормила меня зубной пастой.

* * *

очери уже жили отдельно, своими семьями, но часто на праздники собирались у матери. И еще два раза в год обязательно: сажать картошку и копать картошку. Картошка — это было наше все! Картошку ели на обед и ужин, без картошки не обходился ни один суп, картошкой кормили скотину. А какие калитки и колобки получались из нее! Поэтому картошки сажали много, чтобы сполна хватило до следующего урожая. А поскольку у тех, кто жил в городских квартирах, не было ни своих мест для ее выращивания, ни погребов для хранения, то и сажали на бабушкином картофельном поле, и хранили в ее погребе.

Договаривались заранее на подходящий выходной: в мае — сажать, в начале сентября — выкапывать. Мужья копали, жены собирали или укладывали в борозды, дети помогали в меру возраста, а скорее, просто бегали и играли, бабушка готовила на русской печке еду на всех.

Дочки обязательно на каждое такое семейное «собрание» просили ее испечь рыбники и калитки.

Картофельные калитки я до сих пор обожаю. Это такие карельские круглые — пироги? Ватрушки? Тесто делается из муки — пополам ржаной и пшеничной. Безо всяких дрожжей! Раскатывается тонкий пласт крутого теста, блюдцем вырезаются круги, на них кладется много начинки: картофельное пюре со сметаной или пшенная крутая каша, тоже со сметаной. Края защипываются особенным образом, такой волной. И пекутся в русской печи. Пшенные калитки я никогда не любила и не понимала, что в них вообще может быть хорошего, а вот мои двоюродные сестры очень их любили и не понимали меня.

А рыбник — это отдельный разговор. Тесто делается очень крутое, только из ржаной муки. Внутрь кладется речная рыба — если мелкая, то целиком, крупная — большими кусками. Обязательно с головой. И лук. Края закрываются как конверт и защипываются сверху. Важно защипать очень хорошо, иначе вытечет самое вкусное — рыбный бульон. Корка

у рыбника получается твердая, даже немного хрустящая, особенно уголки, а внутри она на полсантиметра пропитывается рыбным бульоном и получается мягкая, сочная, солоноватая. Я рыбники не любила, ела только верхнюю твердую корочку или хрустящие уголки. И не понимала — зачем делать пирог с рыбой, когда ее гораздо вкуснее съесть жареную или в ухе. Да и рыба-то костлявая! Если бы без костей, тогда ладно, да разве рыба без костей бывает?

Дочкины мужья (так уж получилось, что все они были не местными) тоже сначала не могли есть странное блюдо, но постепенно распробовали и уже вместе с женами просили тещу обязательно испечь рыбники. А я вот думаю, стала бы я его есть сейчас (ну, естественно, исключая голод и бескормицу)? Наверное, нет, если только корочку погрызла бы, как в детстве.

И еще я любила ряпушку. Бабушка ее не жарила, а просто укладывала рядками на огромной сковороде, сверху слой луковых колец, немного воды, немного подсолнечного масла, накрывала крышкой и ставила в печь. Вот это было вкусно! А самое главное, за что я любила и даже уважала ряпушку (вот ведь рыбка какая добрая!) — в ней не было костей, кроме единственного хребта. Да и вкус у нее был не такой, как у обычной рыбы, — нежный, сладковатый. Очень похоже на невскую корюшку, только без специфического запаха.

Пюбимым отдыхом бабушки были «бесёды». К ней приходили ее подружки — такие же бабушки, как она, в платочках, маленькие, сухонькие. Ставился самовар, и текли разговоры за чаем с их любимым лакомством — конфетами-«подушечками» и сахаром. Сахар бабушка признавала только кусковой, и не рафинад, а тот твердый, который нужно было колоть щипчиками. Вазочка с колотым сахаром и щипчиками всегда стояла у нее на

столе, а во второй вазочке — «подушечки»: светло-розовые, желтоватые, голубоватые... Вот сидят две бабушки, пьют бесконечный чай с одной «подушечкой» или кусочком сахара, неспешно разговаривают... Это называлось «зайти на бесёду». Иногда бабушка говорила: «Пойду к Лёле (или Гале) на бесёду», надевала новый платочек и уходила.

Дверь в дом, кстати, никогда не запиралась. Если никого дома не было, то к двери просто ставили наискосок большую палку. Это значило: «Дома никого нет, приходите в другой раз». А ключ от входной двери лежал на карнизе над дверью. И был он точно такой, как в сказке про Буратино: большущий — на взрослой ладони не поместился бы, с фигурным колечком и зубчатой бородкой. Ключом нам играть не разрешалось, чтобы не потеряли, можно было только посмотреть и сразу положить на место. А в двери, как в другой сказке, «Красной Шапочке», свисала веревочка. Помните: «Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется». Вот и у бабушки было точно такое же устройство! Хоть и было оно совсем простым (с другой стороны веревочка привязывалась к щеколде; потянешь за нее щеколда поднимается), но для меня казалось волшебством, как и ключ «из сказки». Мы, конечно же, потихоньку брали «волшебный» ключ для своих игр.

Постепенно бабушкин дом пустел. Умер дед, дочери и сыновья жили своими семьями в отдельных квартирах. Половину дома, которую отделила когда-то младшая дочь, решив сделать себе почти «свое» жилье, решили продать. Так что сделали отдельный вход для той половины и продали. Картофельное поле тоже поделили пополам с соседями.

А вскоре его забрали: это место, захватив и ту улицу, что была за картошкой, заняли под строительство новых благоустроенных домов. Теперь у бабушки оставалось только полдома,

небольшой двор с сараями и огородик. Все как-то устроились с картошкой. Только три дочки, у которых были квартиры, а не дома́, хранили свою у бабушки в подполе. Там же хранили зимой морковку, капусту. Наказав матери строго-настрого, чтобы брала все, сколько ей нужно и не экономя на себе. Она и брала, строго соблюдая очередь: сегодня — из Нинкиных мешков, потом — из Валькиных, потом — из Шуркиных... И еще пыталась первое время отчитываться, сколько чего у кого взяла. Но тут уж и дочки, и зятья, не сговариваясь, заявили, что нечего считать, пусть хоть все берет именно из их мешков, что надо будет — так еще купят!

Так что и в огороде бабушке сажать уже ничего не нужно было. Росли там сирень, несколько кустов смородины и маленькое вишневое деревце. Вишен всегда почему-то было мало, буквально несколько штук, да и они никому не доставались — еще не успевали созреть, как их расклевывали птицы.

Зато бабушкин двор мы использовали как стоянку для своих велосипедов. На Журавку же или пешком надо идти, или за ве́ликом все время следить, чтобы не увели, или когото просить покараулить. А кого уговоришь, если всем в воду хочется! А нам — красота: доезжаешь до бабушкиного дома, велик во двор, а речка — вот она, рядом! Все друзья нам завидовали!

Да вместо огорода практичная тетушка устроила грядки с клубникой. Конечно, пыталась угощать и бабушку, но она съест ягодку и морщится: кисло. Дочка уговаривает, мол, в сахар макай, а она не хочет, говорит, дитя́м отдайте. Оставит дочь ей на столе мисочку с самыми отборными, крупными ягодами. Не успеет за ворота выйти, как бабушка свой болоньевый плащик (тоже дочкин подарок) — на плечи, мисочку — в сумку, и побежала к другой дочке. Клубнику внукам несет, угощение!

В этом была вся бабушка — самой недоесть, а что получше — внукам. Принесет ей Люся кусок мяса хорошего, она себе отрежет на суп чуть-чуть, а остальное, глядишь, уже другой дочке тащит. Зять с рыбалки приедет, лучшую рыбу — теще, а она опять уже ее кому-то отдает. У дочек-то все мужья — рыбаки, так вдове сына младшего, рано погибшего, отнесет. И так во всем.

Так я и помню ее: в болоньевом плащике, подаренном кем-то из дочек, в платочке, в руках сумка, а в сумке — обязательно кому-то гостинец...

Елена Викторовна ТЕРШУКОВА

выросла в Карелии, в городе Пудоже. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена. По окончании института осталась жить в Ленинграде.

В настоящее время работает в детском саду учителем-логопедом.

